

А И Л И Н

ОБЩИНА СВЕТА

• РОМАН •

Здесь
тебя
увидят
по-настоящему



ОНИ ИСКАЛИ СВЕТ.
И ОТДАЛИ СВОБОДУ.

А ОН НАШЁЛ ВЛАСТЬ.

Айлин Айлин

Община Света

<https://litres.ru/74065483>

SelfPub; 2026

Аннотация

Анна, 32 года, учительница русского языка, у которой за полгода рухнуло всё: брак, работа, опора под ногами. Максим, 19 лет, иногородний первокурсник, оглушённый одиночеством большого города. Их окликнут на улице тёплые, внимательные люди — и каждый шагнёт в распахнутую дверь, не зная, куда она ведёт.

Роман о том, как умные, образованные люди оказываются в плену у тех, кто научился любить расчётливо. История о голоде по теплу, о цене прозрения и о том, можно ли вернуться оттуда, где тебя держали любовью.

Содержание

Пролог. Свердловск, 1991	4
Часть первая. Вербовка	15
Глава 1. Трещины	15
Глава 2. Как это кончилось	25
Глава 3. Те, кто окликает	30
Глава 4. Киров	42
Глава 5. Тепло, которого слишком много	46
Глава 6. Костя	55
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Айлин

Община Света

Пролог. Свердловск, 1991

За двадцать с лишним лет до того, как в подмосковной деревне Лужки встанет за глухим забором дом, а в нём — тридцать человек, отдавших себя одному улыбочивому человеку, этот человек сам сидел на полу в чужой тёплой комнате и плакал от счастья, что его наконец увидели.

Его звали Илюша. Ему было двадцать, и был он тонкий, нескладный, книжный мальчик с горящими глазами, второкурсник философского, и звали его дома именно так — Илюша, мама звала, библиотекарьша Нина Сергеевна, тихая женщина, всю жизнь прожившая среди чужих книг и научившая сына любить их больше, чем людей. Отец, мастер с «Уралмаша», сына не понимал — здоровый, прямой, рабочий человек, он смотрел на этого мечтательного очкарика с книжкой и не знал, в кого тот удался, и любил его неловко, молча, как умел, и эту неловкую молчаливую любовь Илюша считал нелюбовью, и в этом была первая трещина, в которую потом войдёт всё.

Время было такое, что земля уходила из-под ног у всех сразу. Девяносто первый. Страна, в которой Илюша вырос,

рушилась на глазах, как дом под снос; рушились слова, которым учили, рушились портреты на стенах, рушилось само понятие о том, что правильно и что будет завтра. И в эту общую дыру, в эту распахнутую настежь дверь хлынуло всё: проповедники с экранов, целители, маги, кооперативные брошюрки про карму, йогу, космос, тарелки. Душа двадцатилетнего мальчика, начитанного, одинокого, искавшего большого и настоящего, стояла раскрытая, как окно в грозу, — и оставалось только, чтобы кто-то вошёл.

Вошёл Учитель.

Так его и звали — с большой буквы, и Илюша всю жизнь потом будет помнить эту первую встречу до мелочи. Бывший актёр, немолодой, с гривой седеющих волос и голосом, от которого мурашки, он читал лекцию в полупустом ДК — про то, что мир спит, что люди мертвы при жизни, что есть немногие, кто призван проснуться. И Илюша, сидевший в холодном зале на скрипучем стуле, вдруг почувствовал, как у него горят уши, как каждое слово попадает прямо в него, будто этот человек на сцене читает его, Илюшину, никому не показанную душу. Он впервые в жизни услышал вслух то, что чувствовал всегда и не умел сказать: что ему тесно среди спящих, что он не такой, что в нём есть что-то, чего не видят ни отец, ни сокурсники, ни этот тусклый умирающий город.

После лекции его окликнули. Тёплая женщина с добрым усталым лицом — Илья через двадцать лет поставит точно такую же, Светлану, у дверей своего Круга, и не вспомнит,

не свяжет, — подошла, заговорила, выслушала, и у Илюши разжалось в груди впервые за всю его одинокую жизнь. Его позвали. Его, лишнего книжного мальчика, которого никто не звал «пошли», — позвали к своим. И он пошёл.

И были — Илья запретит себе помнить это, но это было — два или три самых счастливых года его жизни. Потому что сначала всё было настоящим. Тепло было настоящим. Друзья были настоящими — впервые в жизни друзья, люди, говорившие на одном с ним языке, читавшие те же книги, искавшие того же. Разговоры до утра, от которых кружилась голова. Ощущение, что ты не песчинка в гибнущей стране, а избранный, посвящённый, что у твоей жизни есть огромный тайный смысл. Он расцвёл. Тонкий, молчаливый Илюша вдруг оказался одним из самых ярких, самых любимых — Учитель выделил его, приблизил, и это было как солнце на лицо после двадцати лет в тени.

И была Таня.

Она пришла в общину чуть позже него, тёмненькая, тоненькая, с родинкой над верхней губой и смехом, от которого у Илюши останавливалось сердце. Они полюбили друг друга так, как любят только в двадцать, в первый раз, насмерть, — захлёб, не отрываясь, веря, что это и есть навсегда. Они сидели рядом на собраниях, держась за руки под столом. Они уходили вдвоём в ночь и говорили, говорили, и казалось, что свет, и любовь, и община, и Таня, и вся бесконечная жизнь впереди — это одно, единое, нерасторжимое счастье. Илю-

ша был счастлив абсолютно, полно, как бывает счастлив человек только раз и только очень молодым. Он не знал ещё, что за такое счастье потом платят всю оставшуюся жизнь.

Она была не просто хорошенькая — она была живая той беспокойной, насмешливой живостью, перед которой Илюша, тихий книжный мальчик, оказался беззащитен. Таня всё подвергала сомнению, даже здесь, в общине, где сомневаться уже было не принято. Она единственная могла на собрании, когда Учитель вещал, тихонько шепнуть Илюше на ухо что-нибудь насмешливое — и он давился смехом, и было сладко и страшно, как от запретного. «Слушай, — шептала она, — а тебе не кажется, что он сам себя слушает с большим удовольствием, чем нас?» И Илюша шикал на неё, испуганный, влюблённый, а внутри у него всё пело, потому что она говорила вслух то, что он сам боялся подумать.

Однажды ночью, когда они сбежали с общего бдения и сидели вдвоём на крыше общаги, глядя на огни ночного Свердловска, Таня вдруг сказала, серьёзно, без обычной насмешки:

— Илюш. А ты не боишься, что мы тут немножко с ума сходим? Все вместе, дружно? Вот смотри: мы умные же люди, а повторяем за ним хором, как первоклашки. Мне иногда хочется крикнуть что-нибудь неправильное, просто чтоб проверить, любят меня или мою правильность.

— Так крикни, — сказал Илюша, замирая.

— Боюсь, — честно ответила Таня. — Вот в том и шту-

ка, что боюсь. А раз боюсь — значит, уже не свободна, да? — Она помолчала, потом засмеялась, тряхнула тёмной головой, прогоняя серьёзность. — Ладно. Ты только меня держи за руку, и не пропадём. Вдвоём не пропадём, слышишь? По одному они нас сожрут, а вдвоём — нет.

И вот это — «вдвоём не пропадём, держи меня за руку» — Илья будет помнить всю жизнь, потому что это и было то самое, чего он лишился навсегда: человек рядом, который видит то же, что ты, боится того же, и держит тебя за руку в темноте. Таня была не ангел и не муза — она была живая девчонка, дерзкая, сомневающаяся, умевшая фыркнуть на Учителя и тут же испугаться собственной дерзости, и любил он её не за святость, а за эту живость, за то, что с ней одной можно было быть настоящим, можно было сомневаться вслух, можно было не держать лицо. Она была единственным человеком, при котором Илюше не надо было притворяться, — и когда её не стало, не стало и места, где он мог быть собой, и он навсегда остался в роли, под которой уже никого.

Потому и страшно отзовётся это через тридцать лет, когда в его Круг войдёт Ника и так же фыркнет, и так же скажет вслух то, что нельзя, и так же посмотрит на него прямо, как ровня. Илья влюбится в Нику не случайно. Он влюбится в неё потому, что она будет на Таню похожа не лицом — повадкой души, той самой свободной насмешливой трезвостью, которую он любил в двадцать и которую сам же истреб-

лял в людях все эти годы. Он построил Круг, чтобы никогда больше не потерять тепло, — и построил его так, что в нём не могло выжить ни одной Тани, ни одной живой, сомневающейся, держащей за руку в темноте; он сделал место, где есть тепло и нет свободы, и обрёк себя любить тех, кого его же машина перемалывает первыми.

Таня была не похожа на восторженных девочек из общины — и Илюшу это в ней и держало. Те смотрели Учителю в рот; Таня смотрела чуть искоса, с усмешкой. Однажды, лёжа с Илюшей на траве за городом, куда они сбежали с собрания, она вдруг сказала, глядя в небо: «А тебе не кажется, что он повторяется? Учитель. Я заметила: у него три проповеди, он их по кругу гоняет, только слова меняет. Как будто не живёт это, а играет, как роль». Илюша тогда испугался — замахал на неё, зашикал: что ты, как можно, это же свет. А Таня засмеялась, перекатилась к нему, ткнула носом в шею и сказала: «Да ладно, не трясись. Я ж не про свет. Я про него. Свет светом, а человек человеком». И вот это — что она умела отделить идею от человека, верить и посмеиваться разом, любить, не теряя головы, — было в ней то, чего Илюша не умел совсем; он-то отдавался всему насмерть, без зазора. Она была его трезвостью, его второй, недостающей половиной зрения. Рядом с ней он был защищён — не от веры, а от того, чтобы вера сожрала его целиком, потому что Таня всегда могла фыркнуть и сказать «не трясись», и мир становился на место.

Когда всё рухнет, Илья потеряет не просто любимую. Он потеряет эту вторую половину зрения, эту способность усмехнуться и отделить. Останется только его, насмерть, без зазора, — и эту-то оставшуюся половину он и положит потом в основание Круга. Если бы Таня была рядом, никакого Круга не вышло бы: она фыркнула бы, сказала «Илюш, ты сам-то себя слышишь?» — и всё рассыпалось бы смехом. Но Тани не будет. И смеяться над ним станет некому — до самой той осени, когда через двадцать с лишним лет в его дом войдёт женщина по имени Ника и засмеётся ровно так, как когда-то смеялась Таня, и он пропадёт во второй раз.

Ради общины он бросил университет — за полгода до диплома, диплом был «спячкой», и Учитель одобрительно кивнул, когда Илюша принёс эту жертву. Ради общины он раздал всё, что имел. Ради общины он порвал с родителями — и вот это была рана, которую он не залечит никогда. Отец, узнав, что сын бросил институт ради какой-то секты, приехал, кричал, хватал за плечи, тряс: опомнись, дурак, что ты делаешь, кому ты поверил. А Илюша смотрел на него с ласковой жалостью посвящённого на спящего и говорил ровно: «Папа, ты не понимаешь. Ты спишь. Мне жаль тебя». И отец ударил его — единственный раз в жизни, наотмашь, по лицу, — и ушёл, и больше они не говорили. А через два года отец умер, внезапно, сердце, на своём «Уралмаше», не помирившись с сыном, и Илюша не приехал на похороны, потому что Учитель сказал, что похороны — спячка, что мёртвых хоро-

нят мёртвые. Вот этого — что он не приехал, что мать стояла над гробом одна, что последним, что было между ним и отцом, осталась та пощёчина, — вот этого взрослый Илья не позволит себе вспоминать ни разу за двадцать лет, потому что это единственное воспоминание, способное его убить.

А потом всё рухнуло.

Это всегда происходит одинаково и всегда внезапно. Сначала слухи, шепотки, которым не веришь, гонишь от себя как спячку. Потом — больше, громче, не отмахнуться. Учитель оказался вором. Деньги, которые несли все, шли не на свет, а ему, на квартиры, на машины, на женщин. А женщины — это было хуже денег: открылось, что Учитель годами брал девочек из общины, молоденьких, внушив им, что близость с ним есть высшее посвящение, и ломал их, одну за другой. Грянул скандал, приехала милиция, газеты, Учителя взяли, община лопнула в одну неделю, как нарыв, и разбросала своих кого куда — раздавленных, обворованных, преданных, не понимающих, как жить дальше, потому что жить иначе они за эти годы разучились.

И в этом крахе Илья потерял Таню.

Не поссорились. Не разлюбили. Их просто разметало взрывом — каждого в свой ад. В те страшные недели, когда всё горело, они потеряли друг друга в буквальном, физическом смысле: он метался, она металась, общие квартиры опустели, телефоны замолчали, и однажды он понял, что не знает, где она. Он искал. Первые месяцы, первые годы — ис-

кал отчаянно, ездил по адресам, спрашивал у бывших. Кто-то сказал — уехала к родителям в другой город. Кто-то — что вышла замуж, спешно, за чужого. Кто-то — и это было хуже всего, и в это Илья запретил себе верить, — что Таня была из тех девочек, кого Учитель... что она не вынесла, что с ней потом было совсем плохо. Илья оборвал этот разговор и больше ни у кого не спрашивал. Он закрыл эту дверь и завалил её, как заваливают вход в шахту, где случился обвал, — чтобы не было слышно, есть ли там ещё кто живой.

И вот тут, на самом дне, в съёмной комнатёнке, без денег, без диплома, без друзей, без отца, без Тани, без единого по-настоящему прожитого года за спиной, двадцатисемилетний Илья лежал лицом к стене и принимал решение, которое определит всё.

Он мог бы сделать то, что делают выжившие. Пойти собирать себя по кускам — к матери, к врачам, к новой честной маленькой жизни. Многие так и сделали; кто-то выкарабкался, кто-то нет. Но Илья сделал другое. Лёжа на дне, он перебирал свои сгоревшие годы — и вдруг увидел всё с холодной, сухой, страшной ясностью. Его погубила не вера. Его погубило то, что он был внизу. Овцой. Ведомым. Он отдал всё — а наверху, у Учителя, всё это время было тепло, сытно, была власть, и были деньги, и была любовь сотни человек, и были те девочки, и Учитель не сломался — сломались они, овцы. Учитель ел, пока паства голодала. Учитель спал спокойно, пока они отдавали ему жизнь.

И Илья, у которого было всякое право возненавидеть этот механизм, — не возненавидел его. Он им восхитился.

Он лежал и думал: я знаю теперь эту машину изнутри, до последнего винтика. Я знаю, как окликают одинокого. Как греют новенького. Как отрезают от родных — не запретом, а лаской. Как берут деньги — не отнимая, а позволяя отдать. Как держат — страхом изгнания. Я прошёл это всё своей шкурой, я знаю это не по книгам, а кровью. И если мир так устроен, что есть пастухи и есть овцы, что одни едят, а другие отдают, — то я знаю теперь, на какой стороне хочу быть. Никогда больше — внизу. Никогда — ведомым. Никогда — овцой, которую предадут и разметут. Только сверху. Только тем, кто держит нити. Только тем, кого не предадут, потому что он сам всё построил.

Это не было решением злодея. В том и весь ужас. Это было решением смертельно раненного человека, который выбрал не лечить рану, а сделать так, чтобы ранить больше не смогли, — единственным доступным ему способом: ранить первым, ранить всех, встать туда, откуда ранят. Он не сказал себе «я буду обманывать людей». Он сказал себе «я больше никогда не дам себя обмануть». А чтобы тебя не обманули, надо самому держать игру. И двадцать с лишним лет спустя, в подмосковных Лужках, тридцать человек будут смотреть на него, как поле на солнце, и не узнают в нём — да и никто уже не узнает — того тонкого книжного мальчика из Свердловска, который сидел на полу в чужой тёплой комнате, дер-

жал под столом за руку тёмненькую девушку с родинкой над губой и плакал от счастья, что его наконец увидели.

Его увидели. И это его убило. А он потом, всю оставшуюся жизнь, будет убивать других — тем же самым: тем, что наконец-то их увидит.

Часть первая. Вербовка

Глава 1. Трещины

Дом девятнадцать по Кантемировской был из тех панельных башен семидесятых, что стоят вдоль московских окраин одинаковыми рядами, как картотека, в которую кто-то сложил несколько тысяч жизней и забыл выдвинуть. Анна жила на двенадцатом этаже, в однокомнатной, которую они с Сергеем взяли в ипотеку шесть лет назад, радуясь виду: с балкона было видно не соседнюю башню, а полосу хилого парка и за ним кольцевую, по которой ночами тёк, не иссякая, красно-белый свет фар. Сергей говорил тогда: смотри, как будто река. Теперь Анна смотрела на эту реку одна и думала, что река течёт мимо, и что это, в сущности, всё, что реки умеют.

Ей было тридцать два. В зеркале по утрам она видела женщину, которую посторонний назвал бы миловидной и тут же забыл: правильное, чуть длинноватое лицо, серые глаза, русые волосы, которые она убирала в учительский пучок и за которыми перестала следить где-то к Новому году — тогда же, когда перестала следить за многим. Она была худая той сухой, нервной худобой, что приходит не от диет, а от того, что забываешь поесть. Высокая. Сутулящаяся в последнее время, будто извиняясь за свой рост. Раньше она красила гу-

бы, неярко, но всегда, — мать вбила в неё, что выходить «с пустым лицом» неприлично; теперь тубик лежал в ванной, сохшийся, и Анна проходила мимо него по три раза на дню и не трогала, и каждый раз это было маленькое поражение, которого никто, кроме неё, не видел.

Развод оформили в октябре. Документы — в декабре. А по-настоящему он кончился вот когда: в феврале, в субботу, Анна обнаружила, что не помнит, какой у Сергея смех. Лицо помнила, голос почти, а смех — нет, будто кто-то аккуратно вырезал звук. Она сидела на кухне с остывшим чаем и пыталась вспомнить, как смеётся человек, с которым она прожила восемь лет, и не могла, и от этого ей сделалось так пусто и страшно, что она впервые за всё это время заплакала — не о нём, а об этой стёртой дорожке, о том, как быстро и бесследно уходит то, что казалось вечным.

Развод был аккуратный. Вот что отравляло. Не было измены — по крайней мере, ей о ней не сказали; не было пьянства, побоев, скандалов, ничего, за что можно зацепиться и сказать «вот, вот из-за чего». Было медленное остывание, как у того чая. Сергей однажды сказал, тихо, без злости: «Аня, мы как два хороших человека, которые друг другу больше ничего не дают. Это ничья не вина». И это «ничья не вина» было хуже всякой вины, потому что виноватого можно ненавидеть, а так оставалось только недоумение, тупое и бесконечное: она ведь всё делала правильно.

Это было её слово — правильно. Анна выросла на нём.

Мать, Тамара Степановна, инженер-конструктор на пенсии, женщина прямая, как чертёж, всю жизнь учила обеих дочерей, что у жизни есть правила и что приличный человек их соблюдает: учись хорошо, не подводи людей, держи слово, не выноси сор, не распускайся. Анна соблюла всё. Школа почти с золотой медалью — четвёрка по физкультуре, мать припоминала её Анне ещё годами. Пединститут. Работа в школе, восемнадцать лет к выслуге. Брак с непьющим, неглупым, вежливым человеком. И вот результат: пустая однушка на двенадцатом этаже, ссохшаяся помада и река чужих фар за окном. Где-то в расчёте была ошибка, и Анна, привыкшая, что у задач есть решение, не могла её найти, и это сводило с ума сильнее самого одиночества.

Сестра позвонила в воскресенье утром, как звонила каждое воскресенье.

— Ну что, — сказала Катя вместо «здравствуй». — Живая?

— Живая. — Анна прижала телефон плечом, наливая воду в чайник, чтобы Катя слышала бытовой звук и думала, что у сестры всё движется. — Чай вот ставлю.

— Одна?

— Кать.

— Что «Кать»? Я спрашиваю, ты одна там сидишь третий выходной или к людям выходишь?

Катя была младше на четыре года и разговаривала всю жизнь так, будто старше на десять. Толстеньякая, громкая, с

вечно растрёпанной рыжеватой химией, замужем за тихим Володей, двое пацанов, работа в МФЦ, где она с утра до вечера выслушивала чужие беды через стекло и оттого, наверное, дома говорила громче нужного. Анна в детстве её стыдилась — Катя была неаккуратная, лезла во всё, ревела на людях. И всю жизнь именно Катя оказывалась рядом, когда было плохо. Когда умер отец, держала восемнадцатилетнюю Анну за руку на похоронах, потому что мать держать не умела. Когда Анна разводилась, приехала в первый же вечер с кастрюлей борща и осталась ночевать на полу, постелив себе куртку, и не сказала ни одного «я же говорила», хотя говорила, предупреждала про Сергея ещё на свадьбе.

— Я выхожу к людям, — сказала Анна. — Я каждый день на работе среди тридцати человек.

— Дети не люди, дети — работа. Я про живых людей. Слушай, приезжай к нам в субботу, а? Пацаны соскучились. Володька шашлык хочет на даче открыть сезон, мороз не мороз.

— Не знаю, Кать. Посмотрю.

— Что ты там посмотришь. — Голос сестры дрогнул, съехал с напора на что-то другое, и Анне сразу захотелось положить трубку, потому что она знала это «другое», эту нежность, которую не умела принимать. — Аньк. Я же вижу, ты тонешь. Ты говоришь ровно, а я слышу, что тонешь. Ну не сиди ты там одна в этой коробке, поедем к нам, я тебя кормить буду, ты как спичка.

— Я не тону, — сказала Анна, и собственный голос по-

казался ей чужим, слишком спокойным. — У меня всё нормально, Катя. Правда. Просто устала.

Повисла пауза. В трубке Анна слышала, как у сестры на том конце орёт телевизор и кто-то из пацанов чего-то требует, — обычная живая каша чужого дома, в котором тепло и тесно, и куда Анне почему-то было невыносимо ехать, потому что там она чувствовала свою пустоту вдвое острее.

— Ладно, — сказала Катя устало. — Не буду давить. Но ты звони, слышишь? Не пропадай. Мне за тебя сердце не на месте.

— Звоню же.

— Раз в неделю, когда я первая наберу. Ну ладно. Целую. Маме позвони, она обижается.

Анна положила трубку и осталась стоять с чайником в руке. Сердце не на месте. Сестре было за неё сердце не на месте, а Анне за себя — нет; внутри было ровное, гладкое ничего, и это пугало больше, чем если бы болело. Она вылила вскипевшую воду в чашку, забыв положить заварку, и выпила кипяток просто так, обжигаясь, глядя в окно на парк, где по серому снегу шли редкие воскресные люди с собаками и колясками, и у каждого, казалось, было куда и зачем идти.

В понедельник стало легче, потому что понедельник имел форму.

Школа номер четыреста двенадцать стояла через две остановки, типовое трёхэтажное здание шестидесятых, выкрашенное в тот неопределённо-бежевый цвет, в который кра-

сят всё казённое. Анна вела русский и литературу у пятых и шестых классов. Она была хорошим учителем — не пламенным, не из тех, кого помнят всю жизнь, но честным, вьедливым, справедливым, и дети это чувствовали и слушались её без крика. На работе можно было не думать о себе. Можно было думать про деепричастный оборот, про то, что Вовка Селезнёв опять не сделал домашку, про то, что у Сони Гавриловой синяк на скуле и надо бы аккуратно поговорить с матерью. Чужие дела наполняли голову до краёв, не оставляя места для собственной пустоты, и Анна была за это работе благодарна, как бывают благодарны шуму, заглушающему звон в ушах.

— Анна Викторовна, вы прям держитесь, — сказала ей в учительской Нина Павловна, физичка, грузная добрая женщина предпенсионного возраста, разливая всем чай из общего эмалированного чайника. — Я бы на вашем месте расклеилась, а вы вон, и уроки, и тетради, молодец какая. Сильная.

— Да что мне сделается, — сказала Анна и улыбнулась той улыбкой, которую отработала до автоматизма, — ровной, благодарной, закрывающей тему.

— Вот-вот, характер, — одобрительно кивнула Нина Павловна. — Это правильно. Поплачешь — не вернёшь, а жить надо.

Анна кивала, и пила чай, и принимала это «сильная», «молодец», «держитесь» с тихой, привычной гордостью че-

ловека, который не разваливается на людях. Это казалось ей достоинством, едва ли не единственным, что у неё осталось. Она не знала ещё, что эта самая гордость — «справляюсь, мне не нужна ничья помощь, я сильная» — и есть то незапертое окно, через которое позже войдут: тихо, вежливо, не повышая голоса, восхитившись сперва именно тем, как стойко она несёт свою ношу. Тем, кто гордится, что не просит помощи, помощь предлагают первыми — и они принимают её с особенной благодарностью, потому что сами никогда бы не попросили.

Вечером она позвонила матери, как велела Катя.

— Аня, — сказала Тамара Степановна, и по одному тому, как мать произнесла её имя, Анна поняла, что разговор будет про правильно и неправильно. — Ну как ты.

— Нормально, мам.

— Нормально. — Мать умела повторить твоё слово так, что оно становилось обвинением. — Катя говорит, ты опять никуда не выходишь. Аня, так нельзя. Ты молодая женщина, тебе тридцать два, у тебя вся жизнь. Нельзя сидеть в четырёх стенах и киснуть. Надо взять себя в руки.

— Я взяла, мам. Я работаю.

— Работа работой. Я про другое. — Пауза, в которой Анна услышала, как мать собирается сказать то, ради чего звонила. — Ты на себя в зеркало давно смотрела? Катя говорит, ты как тень. Распустилась. Я понимаю, тяжело, но это не повод себя запускать. Соберись. Вон Леночка наша, у неё двое

осталось на руках, а она ничего, держится, ходит как королева, и нашла себе уже...

— Мам.

— Что «мам»? Я тебе добра желаю. Я тебя растила сильной, не размазнёй. Отец, царствие небесное, тебя сильной хотел видеть. А ты что? Раскисла из-за того, что мужик не оценил? Да гори он, найдёшь лучше, если приведёшь себя в порядок и перестанешь хоронить себя заживо.

Анна стояла у окна, смотрела на реку фар и чувствовала, как внутри поднимается знакомое, глухое, бессильное. Мать желала ей добра. В этом и был ужас — мать искренне, всем своим железным сердцем желала ей добра, и каждое слово этого добра ложилось на Анну новой плитой: соберись, возьми себя в руки, не распускайся, будь сильной. Никто за всю эту зиму, ни мать, ни коллеги, ни даже любящая Катя, не сказал ей простого: тебе плохо, и это нормально, посиди, поплачь, я рядом. Все требовали, чтобы она держалась. И она держалась — на одной злой гордости, на стиснутых зубах, — а внутри что-то медленно осыпалось, как осыпается подмытый берег, тихо, без всплеска, пласт за пластом уходя под воду.

— Хорошо, мам, — сказала она. — Я поняла. Я возьму себя в руки.

— Вот и умница. Ты позвони мне в выходные. И к Кате съезди, не обижай сестру.

— Съезжу.

Она положила трубку и долго стояла в темнеющей комнате, не зажигая свет. Странное дело: она ничего не чувствовала к матери — ни обиды, ни злости, давно уже ничего, привыкла. Но после таких разговоров в ней оставалось ровное, опустошающее эхо: возьми себя в руки. А где они, эти руки? Чем брать? Анна смотрела на свои ладони, бледные в свете чужих окон, и не понимала, как ими можно ухватить и удержать собственную разваливающуюся жизнь, если сама жизнь утекает сквозь пальцы, как вода, и не за что зацепиться, и нет такой воли, которой можно заставить себя хотеть жить, если хотеть разучился.

Она заварила, наконец, нормальный чай. Села к окну. На подоконнике стояла фотография в рамке — они с Сергеем на море, шесть лет назад, оба загорелые, смеющиеся, она в его рубашке навыпуск. Анна давно собиралась её убрать и всё не убирала, и теперь смотрела на этих двух чужих счастливых людей и думала, что не помнит, как он смеётся, хотя вот же, на фото, он смеётся, и она рядом, и они не знают ещё, что через шесть лет от этого не останется даже звука.

В ванной, проходя мимо, она снова увидела ссохшийся тюбик помады. И снова не тронула.

За окном текла и текла река чужих фар — в город и из города, к кому-то и от кого-то, у каждого было куда. Анна допила чай, вымыла чашку и поставила её на полку — на пустую правую половину, где раньше стояла вторая чашка, Сергеева, и которую Анна, сама не зная зачем, продолжала

оставлять свободной, будто что-то ещё могло туда вернуться. Завтра снова будет форма: подъём, школа, деепричастия, чужие дела, чужие дети. Этого пока хватало, чтобы не утонуть.

Она ещё не знала, что весной кто-то спросит её — не «как держишься», а «как ты сама-то», по-настоящему, глядя в глаза, — и что от этого простого вопроса в ней что-то откроется навстречу, как открывается на тепло замёрзшая земля. И что в открытую эту землю можно посеять что угодно.

Глава 2. Как это кончилось

Если бы Анну спросили, когда именно кончился её брак, она не смогла бы назвать день. В том и была беда. Браки, которые рушатся со скандалом, имеют дату, как имеет дату землетрясение; а её брак не рухнул — он остыл, медленно, градус за градусом, и однажды просто оказался холодным, и нельзя было сказать, в какую минуту тепло ушло окончательно.

Сергей не был плохим человеком. Это Анна повторяла себе и тогда, и потом, и это было чистой правдой, и именно это было невыносимо. Не пил. Не гулял — по крайней мере, она не знала и предпочитала не знать. Не поднимал руки, не кричал, не унижал. Он был инженер, спокойный, надёжный, чуть скучноватый человек, за которого она вышла в двадцать четыре с тихим облегчением: вот, всё правильно, мама одобряет, мужчина положительный, теперь жизнь пойдёт по плану. И жизнь пошла по плану. Ипотека, ремонт, отпуск раз в год, его родители на праздники, её мать по воскресеньям. Всё было правильно. И всё было мертво, только они с Сергеем не сразу это заметили, потому что были заняты правильным.

Детей не получилось. Это они тоже пережили правильно — без истерик, без взаимных обвинений, сходили к врачам, врачи развели руками, «идиопатическое», бывает, и они кив-

нули и вернулись к жизни, и больше об этом не говорили. А зря. Может, если бы они тогда закричали друг на друга, заплакали вместе, обнялись над этим горем — может, что-то и склеилось бы. Но они были воспитанные люди, они не выносили сор, они держались, и горе, не выплаканное вдвоём, тихо отодвинуло их друг от друга ещё на шаг, и они снова не заметили.

Под конец они жили как соседи. Вежливые, корректные соседи по ипотечной однушке. «Будешь чай?» — «Спасибо, налей». «Я в выходные к матери». — «Хорошо, я тогда в гараж». Они перестали ссориться — но не потому, что не из-за чего, а потому, что незачем; ссорятся за то, что дорого, а им стало нечего делить. Анна иногда ловила себя на том, что не помнит, когда они последний раз смеялись вместе. Когда последний раз он рассказал ей что-то про свой день не из вежливости, а потому что хотел поделиться. Когда последний раз они были не функциями — муж, жена, — а двумя людьми, которым интересно друг с другом.

Сергей завёл разговор сам, в ноябре, вечером, и Анна по тому, как он отложил телефон и сел напротив, поняла, что сейчас будет то, чего она давно ждала и боялась.

— Ань. Нам надо поговорить.

— Я слушаю.

— Я думаю, нам надо разойтись.

И он сказал это так буднично, так без надрыва, что Анна сначала даже не почувствовала боли — почувствовала толь-

ко странную пустоту, будто ждала удара, а её просто тихо отпустили, и от этой тишины было страшнее, чем от удара.

— Из-за кого-то? — спросила она, и сама удивилась, как ровно звучит голос.

— Нет. — Он посмотрел ей в глаза, и она увидела, что он не врёт. — Честно, нет. Не в этом дело. Аня, мы... мы хорошие люди. Мы друг другу зла не делаем. Но мы и добра друг другу больше не делаем. Мы просто живём рядом и не мешаем. Я не хочу так до старости. И тебе не хочу так. Ты молодая ещё. Мы оба молодые. А живём как в доме престарелых.

И вот тут было хуже всего. Потому что он был прав. Анна открыла рот, чтобы возразить, чтобы сказать «как же так, у нас же всё нормально», — и не смогла, потому что «нормально» и было приговором. Не «плохо» — «нормально». Ровно, пусто, вежливо, никак. Ей нечего было защищать. Он не отнимал у неё счастья — он называл вслух то, что счастья давно нет, а есть только привычка и правильность.

— Это ничья не вина, — сказал он мягко, и это была та фраза, которую Анна потом будет прокручивать месяцами, та, что отравляла сильнее любого скандала. — Понимаешь? Никто не виноват. Так бывает. Просто кончилось.

Развод оформили быстро и аккуратно, как всё, что они делали. Поделили без споров — он оставил ей квартиру, взял на себя остаток ипотеки на полгода, повёл себя порядочно, как порядочный человек. На последней встрече, у нотариуса, они вышли вместе на улицу, постояли неловко, и Сергей

сказал: «Ну... ты звони, если что. По-человечески». И Анна кивнула, и они разошлись в разные стороны метро, два чужих теперь человека, которые восемь лет спали в одной кровати, и никто из прохожих не догадался бы, что вот сейчас, на этом углу, тихо, без единого крика, кончилась целая жизнь.

А дома она впервые заплакала. Не о Сергее — она поняла это, рыдая на кухне, и от этого понимания плакала ещё горше. Она плакала не потому, что любила его и потеряла. Она плакала потому, что не любила, давно, может, и никогда по-настоящему, что прожила восемь лет правильной, мёртвой жизнью и не заметила, как они прошли, и что теперь ей тридцать два, и она одна, и впереди пустота, и непонятно, как и зачем жить, если даже «всё правильно» не спасает от этого холода.

И вот это — не сам развод, а то, что он обнажил, — и стало той трещиной, в которую потом войдёт всё. Если бы Сергей оказался подлецом, изменником, тираном, Анне было бы, как ни странно, легче: была бы причина, имя, виноватый, можно было бы ненавидеть, оправиться, начать заново со злостью. Но виноватого не было. Был только тихий вывод, страшнее всякой измены: я делала всё правильно — и осталась ни с чем. А если правильно не спасает, то на что вообще опереться, чему верить, как жить? Этот вопрос Анна носила в себе всю ту зиму, открытый, кровоточащий, — и весной кто-то придёт и предложит на него ответ. Простой, тёплый,

всё объясняющий ответ. И Анна вцепится в него, как вцепляется в любую протянутую руку тот, кто давно тонет в тихой, вежливой, не имеющей даже имени воде.

Глава 3. Те, кто окликает

Максим Зорин приехал в Москву из Кирова в конце августа, и город встретил его так, как встречает всех таких, — никак.

Ему было девятнадцать. Высокий, нескладный, с той подростковой худобой, которая не успела ещё стать мужской статью: длинные руки, в которых он не знал, что делать на людях, узкие плечи, острый кадык. Лицо открытое, с той беззащитной открытостью, что выдаёт провинциала в любой толпе, — светлые брови, серо-голубые глаза, в которых всё было написано, веснушки на переносице, не сошедшие даже к осени. Волосы русые, торчком, мать стригла его всю жизнь сама, и в Москве он впервые пошёл в парикмахерскую и вышел оттуда красный, не зная, надо ли давать чаевые, и дал, и потом полдня казнил, что дал мало. Он носил клетчатую рубашку, заправленную в джинсы, как одевают мальчиков матери в маленьких городах, и только через месяц в общаге понял, что так никто не ходит, и стал носить навывпуск, и от этого почему-то почувствовал себя самозванцем в чужой одежде.

Дома, в Кирове, на улице Воровского, он был кто-то. Сын Зориных — отца знали на заводе, мать в поликлинике. Тот Зорин, что школу с похвальным листом. Парень, с которым здоровались три двора. Он не ценил этого, как не ценят воз-

дух, пока его хватает. В Москве воздух кончился. Здесь можно было ехать час в метро, плечом к плечу с сотней людей, и не встретить ни одного взгляда; здесь в общежитии на Юго-Западной за стенкой жили, смеялись, влюблялись, и всё это было рядом, за десятью сантиметрами бетона, и бесконечно далеко. Максим лежал вечерами на скрипучей кровати, слушал чужой смех сквозь стену — не слова, только интонацию, тёплую, свойскую, — и чувствовал под рёбрами что-то горячее и стыдное. Не зависть. Голод.

Он пробовал. Боже, как он пробовал. Писал в чат группы — отвечали смайликом или не отвечали. Подсел в столовой к ребятам с потока — поговорили вежливо и отвернулись к своим. Один раз набрался духу, позвал двоих в кино — они переглянулись, и один сказал «да мы вообще-то заняты», и Максим потом две недели обходил их стороной, стгорая со стыда. Он начал бояться. Не людей — а вот этой вежливой, гладкой стены, о которую разбивалась каждая его попытка, стены, которая не отталкивала грубо, а просто не впускала, и от этого было хуже, чем от прямого «отвали». К октябрю он почти перестал пробовать. Ходил на лекции, садился с краю, быстро уходил, чтобы не видеть, как все сбиваются в стайки и кто-то кому-то говорит «ну что, пошли». Это «пошли» резало каждый раз. Не слово — то, что оно всегда было не ему.

Костю он встретил в середине октября, вечером, на скамейке у главного корпуса, куда вышел просто потому, что в комнате было совсем невмоготу.

— Слушай, а это не ты вчера на философии спрашивал про свободу воли? — сказал кто-то рядом, и Максим не сразу понял, что обращаются к нему.

Он обернулся. Парень чуть постарше — лет двадцати трёх, может, — сидел на той же скамейке, в распахнутой куртке, спокойный, ничем не примечательный и оттого располагающий: обычное русское лицо, тёмные волосы, короткая бородка, тёплые внимательные глаза. Он улыбался не дежурно, а так, будто и правда рад был наткнуться.

— Я, — сказал Максим, и сердце у него зачем-то застучало.

— Хороший вопрос был. Я как раз думал то же самое, а сформулировать не мог. Лектор-то отмахнулся, а вопрос-то настоящий. — Парень протянул руку. — Костя.

— Максим.

И Костя не убежал. Вот что было невероятно. Он сидел и говорил — про лекцию, про этого отмахнувшегося доцента, потом про то, зачем вообще философия, если есть наука, — и слушал Максима так, как Максима не слушал никто и никогда. Не поддакивал из вежливости. Переспрашивал. В одном месте сказал: «Стоп, вот это интересно, разверни», — и Максим, не привыкший, что его просят разворачивать, развернул, и говорил долго, горячо, и испугался, что выдал, как ему это нужно, — а Костя только кивнул: «Редко с кем так поговоришь». И встал, и хлопнул его по плечу, и ушёл, и Максим унёс это «редко с кем» в общагу и грел об него руки

весь вечер, и впервые за два месяца уснул не сразу проваливаясь в яму, а думая о хорошем.

Чего Максим не знал — и не мог знать — это что Костя не лгал. Не играл роль с холодным расчётом афериста. Костя Демченко сам приехал когда-то таким же — из-под Брянска, с тем же чемоданом, с той же клетчатой рубашкой, с той же ямой под рёбрами. Три года назад его самого вот так же окликнул, обогрел, выслушал человек постарше, тёплый и внимательный, — и то, что Костя тогда впервые за месяцы перестал быть один, он помнил до сих пор как лучшее, что было в его жизни, как спасение. Его подобрали, дали своих, дали смысл, дали имя. Теперь, окликаая Максима, Костя был убеждён, что протягивает руку тонущему, что делает с этим мальчишкой самое доброе, что вообще можно сделать с человеком. Его научили искать таких — одиноких, неглупых, на отшибе. Научили словам. Научили, что давить нельзя, что человека надо сперва накормить вниманием, а просьбы и требования — потом, сильно потом, когда привяжется. Но Костя не чувствовал себя вербовщиком. Он чувствовал себя старшим братом, спасающим младшего. Так и передавалась эта зараза — не через злодеев, а через спасённых, свято верящих, что спасают, потому что признать иное значило бы признать, что и их самих когда-то не спасли, а поймали.

Через несколько дней они столкнулись снова — Максим потом так и не решил, случайно или Костя его искал, и предпочёл думать, что искал. Костя позвал на лекцию. Не на па-

ру — на открытую встречу, вечером, в культурном центре у метро: приезжий лектор читает про то, почему современный человек так одинок.

— Тебе зайдёт, — сказал Костя. — Ты как раз про такое думаешь.

И в этом «ты как раз про такое думаешь» было всё то же, что согрело на скамейке: меня заметили. Кто-то держит в голове, какой я.

Зал был маленький, мест на сорок, и совсем не страшный — Максим, честно, и не думал словом «секта», но если бы подумал, то именно этого бы и не нашёл. Обычные люди. Студенты, кто-то постарше, женщина с усталым добрым лицом, мужчина в очках с блокнотом. Чай в углу, печенье, которое никто не сторожил. Ни икон, ни лозунгов, ни кружки для денег. Лектор — немолодой, седоватый, в свитере, говоривший негромко и умно, — и это Максим отметил с облегчением: он боялся фанатиков с горящими глазами, а попал, кажется, к думающим людям. Лектор не давил, не пугал концом света, никуда не звал вступать. Он просто называл вслух то, что Максим чувствовал последние месяцы и не умел сказать.

Что человек создан для своих и гибнет среди чужих. Что большой город устроен так, чтобы люди скользили мимо друг друга, не задевая, и это называют свободой, а на деле это одиночество, которому придумали красивое имя. Что почти каждый сегодня носит в себе вопрос «кто я» и не находит

ответа, потому что искать его в одиночку — всё равно что пытаться увидеть собственное лицо без зеркала.

У Максима горели уши. Это было про него — так точно, что становилось неловко, будто кто-то прочёл его переписку. Он оглянулся: не он один так слушал. Женщина с усталым лицом кивала, мужчина в очках перестал писать, весь зал из сорока человек дышал в одном ритме, и впервые за долгое время Максим был не с краю, не снаружи, а внутри — внутри общего, тёплого, понимающего.

После лекции на него никто не накинулся. И это окончательно его успокоило. Костя познакомил с парой человек — легко, без нажима: вот, Максим, интересно мыслит. Ему пожали руку, посмеялись над шуткой, в которую — впервые здесь — он входил, а не оставался снаружи. Женщина с добрым лицом, представившаяся Светланой, сказала, что рада была его видеть и чтоб заходил, без всякого «ты должен». Когда он засобирался, его не держали. Никто не взял телефон, не позвал срочно завтра, не сказал, что без него никак. Его просто отпустили в ночь — сытого теплом, оглушённого тем, что был кому-то интересен.

Всю дорогу до общаги он думал об этом. Если б это было что-то нехорошее, на него бы давили. Тянули бы, не пускали. А тут наоборот — хочешь приходи, хочешь нет, никто за руку не держит. Свободнее, чем на родном курсе, где все давно поделились на своих и чужих. «Раз не давят — значит, всё чисто», — эта мысль пришла сама, показалась такой оче-

видной, такой его собственной и взрослой, что Максим даже собой загордился: вот, не дурак, проверил. Ему и в голову не пришло, что свободу его прихода и ухода кто-то рассчитал — с той же заботой, с какой Костя на скамейке попросил «развернуть».

За стеной снова смеялись. Но в этот вечер чужой смех не резал. У Максима было куда пойти в четверг, и был человек, державший в голове, какой он. Засыпая, он поймал глупую, тёплую, почти детскую мысль: кажется, я нашёл своих.

Он не знал, что в это же время в другом конце города согревался ещё один человек — таким же теплом, из той же печи.

Анну привела туда коллега, Нина Павловна, та самая физичка. Обмолвилась в учительской, что по субботам помогает «в одном месте» — разбирают вещи для тех, кому совсем туго, и рук вечно не хватает. Анна сказала «давай как-нибудь» тем тоном, которым закрывают тему. А потом пришла суббота — плоская, бесконечная, с пустой половиной полки и фотографией двух чужих счастливых людей на подоконнике, — и Анна вдруг поняла, что не вынесет её всю, от утра до вечера, наедине с собой. И поехала. Не из доброты, в чём потом честно себе призналась. От того, что некуда было деть руки.

Место было обычное — полуподвал при районном центре соцпомощи, на улочке за рынком, стеллажи, коробки, запах картона и стираной чужой одежды. Но люди там были дру-

гие. Анна привыкла к учительской, где помощь шла со счётом: ты мне — я тебе, кто сколько отработал, кто отлынивает. Здесь не считали. Складывали детские вещи по размерам, перешучивались, кто-то принёс пирог просто так. И Анну, новенькую, не разглядывали оценивающе, к чему она привыкла.

Женщина по имени Вера показала ей, что куда. Вере было лет пятьдесят с небольшим. Невысокая, плотная, с круглым спокойным лицом и руками, которые всё умели, — руками медсестры или хорошей хозяйки. Седые волосы убраны под платок не по-церковному, а по-домашнему. Глаза тёплые, внимательные, чуть усталые. Она двигалась неторопливо и говорила негромко, и рядом с ней Анне сразу стало как-то надёжно, как бывает рядом с человеком, который знает, что делает. И вот эта Вера, не отрываясь от коробок, между делом спросила:

— А ты сама-то как, Аня?

И Анна, неожиданно для себя, ответила не «нормально». Она не собиралась ничего рассказывать. Но Вера спросила не из вежливости и не из любопытства — она спросила так, будто ответ ей правда был зачем-то нужен, будто у неё было место, куда этот ответ положить. И Анна, складывая чьи-то крошечные ползунки, вдруг сказала вслух то, чего не говорила ни матери, ни Кате: что развелась, что не понимает теперь, как жить, что всё делала правильно и не помогло, и что устала, что от неё все требуют держаться, а она не знает,

чем.

Она сказала это и сжалась — сейчас будет жалость, эти охи, «бедная ты моя», после которых хочется провалиться. Или будет мать: соберись, возьми себя в руки. Но Вера не охала и не воспитывала. Помолчала, аккуратно расправляя детскую кофточку, и сказала просто:

— Бывает, что правильно — это не то же самое, что живо.

И всё. Не стала утешать, советовать, чинить. Просто положила рядом эту фразу и пошла дальше разбирать коробку.

Анна потом весь вечер про неё думала. Правильно — это не то же самое, что живо. Она не была уверена, что согласна. Но что-то эта фраза в ней задела, развязала узел, который Анна и узлом не считала. Впервые за зиму ей сказали не «держись» и не «молодец», а что-то про неё настоящую, про то тупое недоумение, в котором она жила. Её не похвалили за то, что хорошо терпит. Её, кажется, увидели.

Был один раз за всю ту зиму, когда Анна сама попробовала найти опору, — и про этот раз стоит сказать, потому что он объясняет, почему полуподвал с Верой так в неё попал. В декабре, в самый чёрный месяц, она зашла в церковь. Не из веры — крещёная, но невоцерковлённая, как большинство, — а так, от безысходности, увидела открытую дверь и зашла. Это была большая, недавно отремонтированная церковь у метро, золото, мрамор, ровные ряды свечей по прейскуранту. Анна постояла, не зная, что делать с руками. Подошла свечница — строгая женщина в платке — и вместо «что у

вас случилось» сказала: «Женщина, в брюках в храм неприлично, и голову покройте». Анна купила платок, неловко повязала, постояла ещё немного у иконы, не зная, как и о чём, чувствуя только, что она тут чужая, что все вокруг знают какой-то порядок, а она нет, и что никто — ни одна живая душа — не подошёл и не спросил, что её привело. Постояла и ушла. И решила про себя: не моё. Холодно там, как в музее, где ты не туда встал.

Дело было, наверное, не в церкви. Отец Андрей потом, когда Анна расскажет ему про тот декабрьский заход, не станет ни оправдывать тот храм, ни хвалить свой. Вздохнёт и скажет, что и в богатой церкви у метро служит, верно, не одна та свечница, что там наверняка есть живой человек, который посадил бы Анну рядом и выслушал, — просто Анна его не застала или не разглядела сквозь свой стыд. И что в его собственном бедном приходе он сам, бывает, замотанный, отмахивается от человека, спешит на потребу — и однажды так отмахнулся, что человека не стало. Холод и тепло, скажет он, не по храмам поделены, а по людям, и в каждом храме есть и те и другие. Просто Анне в тот вечер попался холод. А весной попадётся тепло — и спросит «как ты сама-то» не священник и не родные, а Вера в полуподвале среди коробок. И Анна потянется туда, потому что у нас так устроено: где тебя по-настоящему спросили, туда и идёшь, — и неважно, есть ли над тем местом крест.

Она стала ездить по субботам. Говорила себе — ради дела,

рук правда не хватало. Это было правдой, но не всей. Полной правдой было то, что здесь с ней разговаривали как с человеком, а не как с функцией: не как с учительницей, не как с брошенной женой, не как с той, что «молодец, держится». Здесь можно было устать, сказать глупость, замолчать на полуслове — и ничего, никто не записывал это в минус. Вера ничего от неё не хотела. Никто ничего не хотел — и именно поэтому, как ни странно, хотелось приезжать снова.

На исходе зимы, провожая её до метро по тёмной улочке, Вера сказала:

— Слушай, Ань. У нас по четвергам собираются. Не за вещами — просто посидеть, поговорить. Не про быт, а так, про важное, про жизнь. Хорошие люди. Приходи, если захочешь. — И, помолчав, добавила то, что решило дело: — Не захочешь — не неволю.

Не неволю. Анна, всю жизнь делавшая, потому что надо, потому что должна, потому что ждут, услышала в этом почти забытое: что можно просто захотеть. Или не захотеть. Что её не тянут.

Она ехала домой в пустом вагоне и ловила себя на том, что улыбается. Если бы её куда-то затягивали, думала она, она бы почувствовала — она же не наивная девочка, взрослая, тёртая, насквозь всё видит. А тут не тянут. Наоборот, оставляют свободу, ту самую, которой так не хватало в прежней расчисленной жизни. «Я бы заметила, если бы что-то было не так» — мысль пришла легко и убедительно, как прихо-

дят мысли, которым хочется верить. И Анна ей поверила. У неё давно не было повода поверить во что-то хорошее, и она вцепилась в этот повод обеими руками — теми самыми, которым наконец нашлось куда деться.

В четверг она поехала.

Глава 4. Киров

Чтобы понять, отчего Максима так легко было увести, надо знать, из чего его увели, — а увели его, как ни странно прозвучит, из любви, только из любви неловкой, молчаливой, не умевшей себя показать, и оттого не убедившей.

Зорины жили в Кирове, на улице Воровского, в двухкомнатной хрущёвке на четвёртом этаже без лифта, и жили, как живёт половина страны, — небогато, честно, тесно. Отец, Сергей Иванович, был мастером на шинном заводе, человеком руки и молчания. Он не умел говорить с сыном. Любил — да, как любят мужики его склада: тем, что вставал в пять, тащил смену, приносил получку, чинил всё в доме, копил Максиму на велосипед, потом на компьютер, потом на институт, отрывая от себя, не говоря об этом ни слова. Вся его любовь уходила в это молчаливое обеспечение, и он искренне считал, что этого довольно, что мужчина так и любит — делом, а не разговорами. И Максим, выросший в этом молчании, недополучил того, чего ребёнку нужно не меньше хлеба: чтобы отец сел рядом, посмотрел в глаза и сказал, что гордится, что любит, что сын для него — чудо. Этих слов Сергей Иванович не сказал ни разу. Не потому, что не чувствовал. Потому что не умел, и стыдился, и думал, что и так понятно.

Мать, Галина Петровна, медсестра, была теплее, говори-

вее, но её тепло уходило в быт, в тревогу, в опеку: поел ли, оделся ли, не простыл ли, сделал ли уроки. Она любила сына заботой о теле и не доставала до души — не потому, что не хотела, а потому что в их доме про душу было не принято, неловко, чудно. «Ты чего смурной?» — «Да ничего». — «Ну ешь давай». Вот и весь разговор о чувствах, какой Максим знал с детства. Его научили, что чувства — это что-то стыдное, что их прячут, что нормальный человек просто ест, работает и не поет.

И Максим рос хорошим мальчиком — тихим, способным, одиноким даже дома. Он много читал, чего в семье не понимали и чуть стыдились: «опять с книжкой засел, шёл бы во двор». Он чувствовал глубоко, а делиться было не с кем и нельзя. Он мечтал, что когда-нибудь кто-нибудь спросит его не «поел ли», а «что ты чувствуешь, что у тебя внутри, какой ты», — и выслушает, и скажет, что он не зря, что он особенный, что его видят. Дома этого не было. Дома была любовь, огромная, настоящая, но косноязычная, спрятанная в получку и в тарелку супа, и подросток её не считывал, потому что подростку нужны слова, а слов не было.

В школе он был из тех, кого не травят, но и не замечают, — крепкий хорошист, не спортсмен, не клоун, не лидер, серединка. Друзья были, приятельские, неглубокие. Девочка нравилась — не подошёл, побоялся. Он привык быть незаметным и привык думать, что он обычный, потому что ему это, по сути, и внушали — будь как все, не высовывайся, не

выдумывай. «Обычный» было домашним приговором, который Максим носил как вторую кожу, и ненавидел, и верил ему.

Отъезд в Москву был его единственным бунтом. Он мог поступить в Кирове — родители так и хотели, ближе, дешевле, под присмотром. Но Максим вцепился в Москву как в спасение, как в шанс наконец перестать быть «обычным Зориным с Воровского» и стать кем-то, кем угодно, лишь бы новым. Родители скребли по сусекам, отец взял подработки, мать продала бабкино золотишко — собрали на первый год общаги и на дорогу. На вокзале мать плакала и совала свёртки с едой, а отец стоял молча, мял в руках кепку, и в последнюю секунду, когда уже объявили посадку, вдруг неуклюже обнял сына — впервые за годы, коротко, жёстко, — и сказал в плечо одно слово: «Держись». И отвернулся. И Максим уехал, так и не услышав за восемнадцать лет того, чего ждал, — что отец им гордится, что любит, что он не обычный. «Держись» — это было всё. И этого было мало, хоть в это «держись» отец вложил всё, что имел.

А в Москве не было даже «держись». В Москве не было никого. И вот тут, в чужом огромном равнодушном городе, на голодного по теплу, по словам, по тому, чтобы его наконец увидели и назвали особенным, мальчика — и вышел Костя. И сказал ровно то, чего Максим ждал восемнадцать лет и не дождался от отца: что в нём есть глубина. Что он не обычный. Что его видят настоящего. Костя дал Максиму одной

фразой то, чего родная семья, любившая его до самозабвения, не сумела дать за всё детство, — не потому, что не любила, а потому что не умела сказать. И Максим пошёл за этой фразой, как идёт за первым тёплым словом изголодавшийся, — не понимая, что идёт не на любовь, а на её подделку, и что подделка оказалась убедительнее настоящего только потому, что настоящее всю жизнь молчало.

Зорины любили сына молча — а чужой человек заговорил первым, сказал вслух то, что они таили все восемнадцать лет, и забрал мальчика именно тем, чего им самим не хватило смелости произнести.

Глава 5. Тепло, которого слишком много

Четверговые встречи оказались не такими, как Анна боялась. Она ехала, готовая к неловкости — к кругу стульев, к вынужденной исповеди под чужими взглядами, к психологу-затейнику, который заставит «поделиться чувствами». Ничего этого не было.

Была обычная квартира — большая, светлая, в старом доме на Чистых прудах, с высокими потолками и книжными полками до самого верха. Анна потом узнает, что квартира принадлежала одной из «своих», немолодой переводчице, отдавшей её под встречи, — но в тот первый вечер она просто отметила, что тут уютно и не казённо, пахнет чаем и мандаринами, на диване плед, на полу подушки, и человек восемь сидят вперемешку, кто где, и говорят — то серьёзно, то смеясь, как давние друзья. Её усадили в кресло, накрытое чем-то мягким, и сунули в руки горячую кружку прежде, чем она успела сказать, что не хочет затруднять.

— А вот и Анна, — сказала Вера, и все обернулись. — Я про тебя говорила.

Говорила. Значит, о ней говорили до её прихода. Значит, она существовала в этих людях ещё до того, как вошла. Анну, привыкшую быть фоном чужих жизней, это обдало таким неожиданным теплом, что защипало в глазах, и она быст-

ро уткнулась в кружку.

Рядом тут же оказалась девушка — лёгкая, светловолосая, лет под тридцать, с быстрой улыбкой и ямочками на щеках.

— Лена, — представилась она, подсаживаясь. — Ты не тушуйся, тут все свои, никто тебя не съест. Первый раз всегда чуть-чуть страшно, я помню. Печенье бери, оно правда вкусное, Светлана пекла.

Лена Кравцова располагала к себе мгновенно — той располагающей лёгкостью, которая кажется беззаботностью, а на деле бывает у людей, которые научились очень хорошо прятать тяжёлое. Она смеялась легко, болтала обо всём, перескакивала с темы на тему, и рядом с ней Анна впервые за зиму почувствовала себя не глыбой горя, а просто человеком, с которым можно поговорить про сериалы и про то, где брать хорошую заварку.

Анна не знала тогда — и долго не узнает, — что у Лены есть сын. Мальчик восьми лет, Митя, оставшийся в Туле с её матерью. Лена приехала «на время, разобраться в себе» после развода, тяжёлого, с битъём, не такого аккуратного, как у Анны, — и осталась. Время растянулось в три года. Сын рос без неё, по телефону, по редким, всё более редким поездкам, и Лена объясняла это себе тем самым языком, которого Анна ещё не знала: что мать в смятении повредит ребёнку больше, чем мать в отъезде; что она вернётся за ним, когда сама окрепнет, наберётся света, встанет на ноги. Срок всё не приходил. И вся Ленина смешливость была, если присмот-

реться, тонкой коркой над полыньёй, в которую Лена старалась не глядеть, потому что глянуть значило бы спросить себя, что она делает со своим мальчиком, — а этого вопроса язык общины задать не позволял. Анна тогда не присматривалась. Ей было слишком хорошо в Ленином тепле, чтобы думать, из чего оно сделано.

Говорили в тот вечер ни о чём и обо всём. Кто-то рассказал, как поссорился с начальником и как потом понял, что начальник просто несчастный человек. Кто-то — про книгу. Светлана, та самая женщина с усталым добрым лицом, оказавшаяся тут вроде хозяйки, говорила меньше всех, но когда говорила, все слушали. В какой-то момент она повернулась к Анне:

— А ты не думай, что надо что-то из себя выдавливать. Хочешь — расскажи о себе, хочешь — просто посиди, послушай. Тут никто никого не неволит.

И снова это «не неволю», и снова Анне стало тепло. Она немного рассказала — про школу, про развод, осторожно, ожидая привычного «держись». Но никто не сказал «держись». Лена накрыла её руку своей и сказала: «Как же тебе досталось». Просто. И у Анны опять защемило в глазах, потому что за всю зиму ей никто не сказал, что ей досталось, — все говорили, какая она сильная.

Потом всё пошло быстро.

На следующий день написала Лена — просто спросила, как добралась, как настроение, и они проболтали в перепис-

ке весь вечер. Через день позвонила Вера — узнать, не заболела ли, голос был усталый. Светлана прислала ссылку на статью: «ты говорила, тебе это близко». Кто-то звал на прогулку, кто-то помочь выбрать подарок, кто-то просто так. Телефон, который месяцами молчал — Анна привыкла брать его и класть обратно, не дождавшись ничего, кроме рабочих рассылок, — телефон вдруг ожил, тёплый, светящийся, полный людей, которым она зачем-то была нужна.

Она не понимала, чем заслужила. Вот что было сладко и странно: она ничего не сделала. Не старалась понравиться, не выслуживалась, не была ни остроумной, ни полезной. Её просто взяли и приняли — всю, с разводом, с потухшестью, с молчанием на полуслове, — и от этого по телу разливалось то, чему она давно не знала названия. Тяжесть, которую она таскала с осени, не ушла, но будто разделилась на много рук, и нести стало легче.

В одну из тех недель позвонила Катя — в своё воскресенье.

— Ну, рассказывай, — сказала сестра. — Что-то ты повеселела. По голосу слышу. Случилось чего хорошее?

— Да нет, — Анна улыбнулась в трубку. — Просто... познакомилась тут с хорошими людьми. Хожу к ним.

— К каким людям? — В Катином голосе мгновенно проснулась настороженность, та сестринская локаторная чуткость, которую не обманешь. — Где познакомилась?

— Через Нину Павловну, с работы. Они помощью зани-

маются, вещи нуждающимся собирают. А потом просто общаемся. Хорошие, Катя. Тёплые. Я давно так с людьми не...

— Помощью занимаются, — повторила Катя медленно.

— Это что, церковь какая-то? Религиозное?

— Да нет, обычные люди. Не религиозное. Просто хорошие.

— Хм. — Катя помолчала. — А что за люди-то? Чем живут? Они денег не просят?

— Господи, Катя, ну какие деньги. — Анна засмеялась, и смех вышел чуть резче, чем хотелось. — Наоборот, они мне всё время что-то дают — внимание, заботу. Я тебе говорю про людей, которым я небезразлична, а ты сразу «деньги», «церковь». Ну вот всегда ты так.

— Как «так»?

— Подозрительно. Я тебе говорю — мне впервые за полгода хорошо, а ты ищешь подвох.

— Я не ищу подвох, — сказала Катя, и голос у неё стал осторожный, как у человека, который идёт по тонкому льду и слышит треск. — Я просто... Ань, ты вспомни, какая ты была месяц назад. Ты была никакая. А тут вдруг р-раз — и какие-то новые люди, и сразу не разлей вода. Так быстро не бывает, Ань. Я по работе таких насмотрелась, которые вдруг «нашли своих»...

— Вот именно, по работе, — перебила Анна, и в ней поднялось раздражение, неожиданно острое. — Ты через своё окошко на весь мир смотришь как на жуликов. А есть, пред-

ставь, просто хорошие люди, которым не всё равно. Не все хотят меня обмануть, Катя. Кто-то просто хочет, чтобы мне было хорошо. Тебе это так сложно допустить?

Повисла тишина. И в этой тишине Анна вдруг услышала, что сказала что-то не то, что обидела сестру, — но обида была пополам с тем новым, тёплым, что в ней теперь жило и что Катя своими подозрениями пачкала.

— Ладно, — сказала Катя наконец, тихо. — Не злись. Я рада, что тебе лучше. Правда рада. Просто... ты это, поглядывай по сторонам, хорошо? И мне про них рассказывай. Кто, что, как зовут. Чтобы я тоже их, ну, знала.

— Расскажу, — сказала Анна уже мягче, отходя. — Не волнуйся. Всё хорошо, честно.

Она положила трубку, и осадок остался — лёгкий, как царапина. Катя не порадовалась по-настоящему. Не смогла просто порадоваться за неё. Вечно это её недоверие, эта привычка во всём видеть угрозу. Анна отмахнулась от осадка, но он не ушёл совсем, а лёг куда-то на дно — первой крошечной трещинкой между ней и сестрой, которую ни та ни другая ещё не заметили.

А Катя на том конце, положив трубку, долго сидела на кухне. Володя спросил из комнаты, что случилось. «Ничего, — сказала Катя. — Аньке вроде лучше». Но сама сидела и крутила в руках телефон, и внутри скреблось. Она не могла объяснить словами, что именно её насторожило, — всё вроде складно, люди, помощь, общение. Но было что-то в самом

голосе сестры: эта новая горячность, эта готовность мгновенно встать на их защиту, обидеться за чужих, ещё толком не знакомых людей сильнее, чем за родную сестру. Катя двадцать лет читала Анну как открытую книгу. И сейчас впервые в знакомом тексте появилось слово на чужом языке. Она не знала ещё какое. Но чуяла — как чуют звери задолго до грозы, по перемене в воздухе, которую не объяснишь.

В тот же вечер, в другом конце города, согревался Максим — быстрее и горячее, чем Анна, потому что в девятнадцать нет ни осторожности, ни привычки приглядываться.

Его обступили — не разом, а будто само собой. То Костя напишет, то позовут на чай, то в чате кто-нибудь бросит: «Макс, ты идёшь?» И это «Макс, ты идёшь» каждый раз отдавалось под рёбрами горячей волной, потому что дома, на курсе, он был тем, кого не зовут, а тут звали. Тут у него было имя. Тут перебивали, чтобы услышать, а не чтобы заткнуть.

Костя возился с ним как старший брат. Однажды, когда они шли с очередной встречи через ночной город, Костя сказал:

— Знаешь, что я в тебе сразу увидел, Макс? Глубину. Большинство в твоём возрасте пустые, как барабан, — бухает, тусит, в телефоне сидит. А ты думаешь. Ты вопросы задаёшь, на которые у людей вдвое старше тебя ответа нет. Это редкость. Это, знаешь, дар почти.

Максим шёл рядом и боялся дышать, чтобы не спугнуть. Глубина. В нём, оказывается, есть глубина. Дома говорили

«доешь» и «опять ты забыл», а тут взрослый, умный, состоявшийся человек разглядел в нём что-то, чего он сам в себе не подозревал.

— Да ладно, какой дар, — пробормотал он, краснея в темноте. — Обычный я.

— Вот это «обычный я» как раз и есть то, чем тебя сделали, — мягко сказал Костя. — Тебе с детства внушали, что ты обычный, чтоб ты не высовывался, был как все, удобный. А ты не обычный, Макс. И тут это видят. Тут видят, какой человек на самом деле, а не каким его привыкли считать.

Максим потом всю ночь крутил этот разговор, как монету, и она не тускнела. Его видят настоящего. Не пустого, не лишнего, не «обычного» — а такого, каким он втайне мечтал быть и не смел поверить, что есть.

Мелькнуло как-то и у него: слишком хорошо. Уж очень его полюбили — сразу, ни за что. Но мысль не продержалась и секунды: он отмахнулся почти со злостью, потому что она грозила отнять единственное хорошее, что у него было. Ну и пусть слишком, думал он. Пусть. Он так изголодался быть для кого-то своим, что не собирался теперь, дорвавшись, выискивать подвох. Голодный не нюхает хлеб на яд. Голодный ест.

И оба они — взрослая осторожная женщина и горячий одинокий мальчишка, незнакомые, в разных концах города, — в эти недели чувствовали одно, хоть назвали бы по-разному. Что их наконец любят. Что они кому-то нужны просто

так, без заслуг. Что после долгой зимы их впустили туда, где тепло. И ни один не спросил себя, почему дверь открылась так широко и так вовремя, — потому что когда тебя впускают в тепло, последнее, чего хочется, это оглядываться на дверь.

Глава 6. Костя

У Кости Демченко была своя комната в той квартире, где жили молодые братья, — крошечная, два на три, бывшая кладовка, но своя, и это была привилегия, знак, что Костя не из последних в Круге. На стене у него висела одна-единственная фотография, и на ней был не Илья, не Круг, а пожилая женщина с усталым добрым лицом — мать, которую Костя не видел четыре года. Он не позволял себе смотреть на эту фотографию подолгу. Но и снять не мог.

Когда он привёл Максима — в тот вечер, после лекции, когда мальчишку обступили, накормили теплом и отпустили в ночь, — Костя шёл домой счастливый. По-настоящему. Он не притворялся, не отрабатывал задание, не потирал руки, как паук, заполучивший муху. Он был счастлив так, как бывает счастлив старший брат, нашедший младшего, или спасатель, вытащивший тонущего. Он видел Максима насквозь — потому что Максим был он сам три года назад: то же одиночество, та же яма под рёбрами, та же отчаянная, стыдная жажда быть кому-то нужным. И Костя думал: я тебя вытащу, малыш. Я не дам тебе пропасть, как чуть не пропал я. Со мной тебе повезло.

Потому что Костю когда-то тоже спасли — так он это помнил, так был обязан помнить. Брянск, общага, второй курс, мать-одиночка за триста вёрст, отца не было никогда. Он

точно так же сидел один, точно так же слушал чужой смех за стеной, точно так же боялся вечеров. И на остановке его окликнул человек — звали его Андрей, не священник, другой Андрей, давно растворившийся брат, которого потом самого изгнали, — окликнул, заговорил, выслушал, и у Кости разжалось в груди впервые за месяцы. Это разжатие Костя пронёс через всё. Оно стало главным доказательством, святыней: меня спасли, мне протянули руку, я был тонущим — и меня вытащили. На этом стояла вся его вера. И когда он теперь окликал на остановках таких же мальчишек, он не вербовал — он, как умел, отдавал назад полученное, передавал дальше спасение, как передают огонь от свечи к свече.

Он не позволял себе видеть, что огонь этот жжёт. Не позволял сложить простые вещи: что мать в Брянске плачет четыре года; что он бросил институт; что денег своих у него нет, всё «на общее»; что комнатка два на три и есть всё его царство; что братья, которых вчера любили, исчезают, и про них велено не вспоминать, и он не вспоминает. Всё это лежало в нём по отдельности, не складываясь, потому что сложить значило бы увидеть, и Костя, как все, давил это в себе выученными словами: я расту, я держу свет, мать спит, институт спячка. У него был тот же замок на той же двери. Просто Костя стоял к этой двери спиной — и думал, что сторожит чужие двери, открывая их.

Раз в месяц мать звонила. Круг не запрещал — Костя был проверенный, ему доверяли даже отвечать. И каждый такой

звонок был маленькой пыткой, которую Костя проходил с честью, то есть бесчеловечно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.